

**АЛЕКСАНДР СЕКАЦКИЙ**

Философ

Родился в 1958 году в Минске. Мать — учительница, отец — военный лётчик. Детство и школьные годы прошли в переездах из одного гарнизона в другой, в дальнейшем соотношение изменчивости и постоянства стало важнейшей темой творчества автора. В 1975 году, окончив школу с золотой медалью, поступил на философский факультет ЛГУ, откуда через два года был отчислен за изготовление и распространение антисоветских листовок. Следующие десять лет провёл в основном в Средней Азии, работал сторожем, сварщиком, монтировщиком декораций, осветителем в театре, киномехаником и т. д. Отслужил два года в стройбате. В 1988 году был восстановлен в университете, в 1994 году защитил диссертацию, посвящённую онтологии лжи. В настоящее время — доцент Санкт-Петербургского Государственного Университета, автор двенадцати книг и более двухсот статей. Наиболее значимые работы: «Соблазн и воля» (1999), «Онтология лжи» (2000), «Три шага в сторону» (2000), «Сила взрывной волны» (2005), «Прикладная метафизика» (2005), «Дезертиры с острова сокровищ» (2006), «Два ларца, бирюзовый и нефритовый» (2008), «Изыскания» (2009). Лауреат премии им. Андрея Белого (2008) и Гоголевской премии (2009). Живёт в Санкт-Петербурге.

НОВОСТИ О ВЕЧНОМ КИТАЕ

1

Слово «Китай» многозначно и преисполнено таинственности. Оно обозначает и современную страну, рвущуюся в мировые лидеры, и совокупность людей, связанных общим (письменным) языком, и Поднебесную — империю, существующую около трех тысяч лет. Есть еще немало количество вещей, которые принадлежат Китаю или являются Китаем. Среди прочего «Китай» представляет собой предмет научных и культурологических штудий — и этот, вполне, казалось бы, частный случай во многом и определяет инобытие Поднебесной, искажая его порой до неузнаваемости. В результате нам приходится познавать Китай в неузнаваемом виде, а узнавать его всегда в неопознанном состоянии.

Возьмем, к примеру, мировую синологию и рассмотрим ее как некое сословие специалистов, способных хранить бездну премудрости: кристаллы, ларцы и шкатулочки смыслов — при этом они посвящают свою жизнь дроблению кристаллов *in vitro*, растиранию их в порошок. Каждый из них вносит свой вклад — но не будем останавливаться на особенностях суммирования вкладов, обратим лишь внимание на неизбежные последствия монополизма: сугубую узость и одномерность трактовки доставшегося предмета владения. Еще более важен установленный монополией запрет на альтернативное распределение Китая и объявление шарлатанством всего, что не проходит через текстологические допуски. А то, что через них проходит, представляет собой лежащие мертвым грузом стопки сведений, которые время от времени перекадываются, — пресловутую *китайскую*

грамоту. Именно ее олицетворяет совокупность знаний синологов, это и есть завеса, скрывающая Поднебесную от мира и, увы, зачастую от самой Поднебесной.

2

Зайдем теперь с другой стороны. Назовем Китаем, например, китайский фонарик из цветной бумаги: это будет легкий, компактный переносной инструмент, способный определять оптику окружающего мира. Подсвечивая этим фонариком любой случайный уголок в пространстве и времени, мы можем устроить маленький Китай, оповещающий о себе порою едва заметными, но безошибочно узнаваемыми чертами.

В несколько ином, но сущностно сходном контексте иногда говорят: «Устроим Ташкент!» Это значит, в промозглую погоду, бросив на какое-то время принудительную работу, собрать в кучу обломки ящиков, досок и всякие прочие деревяшки, собрать и поджечь. То есть, сделать костер, дающий тепло, отдых, просвет в беспросветности. Сидящие у костра, улыбаясь друг другу, с чувством произносят: «Ташкент!» — и разве реальный город Ташкент мог бы пожелать себе лучшего инобытия?

Но *Ташкент*, пожалуй, самый простой пример компактной переносной сущности. Китайский фонарик по сравнению с ним прихотлив, он требует некоторых навыков погружения в тексты, в глубокие медленные реки влияний, но и он обладает способностью к транспортировке живого огонька, в эффекте применения фонарика может открыться больше подлинного Китая, чем в синологических штудиях и уж тем более чем в современных торговых павильонах Харбина или Нанкина.

Вопрос о преемственности требует правильной постановки. Самый трудный случай — и он же едва ли не самый распространенный, — это когда правопреемники названия (бренда) не являются наследниками истинного имени и уж тем более носителями духа. Например, Египет — современное арабское население этой страны охотно именуется «египтянами», однако нелепо было бы рассматривать их в качестве душеприказчиков Рамзеса, Аменхотепа, бога Ра, царицы Клеопатры и Александрийской библиотеки. Тот Египет принадлежит им ничуть не в большей степени, чем нам. Не исключено, что человечество еще предъявит счет похитителям имени за транжиривание великого наследия.

Но не будем останавливаться на этом, равно как и на отношении нынешних греков к античной Элладе, — вернемся к Китаю, имея в виду, что этот случай посложнее египетского. Прислушаемся к словам Ян Чжу: «Если спрятать Поднебесную в глубинах вод, морские драконы найдут и разорят ее. Если сокрыть Поднебесную на вершинах высоких гор, до нее доберутся ненасытные летающие драконы. Поэтому, чтобы сохранить сокровенную сущность государства, лучше всего спрятать Поднебесную в Поднебесной».

Что ж, именно так и случилось — Поднебесная, древний или вечный Китай, сокрыта в Поднебесной, — из чего вовсе не следует, что гражда-

нам КНР проще обрести ее сокровенную сущность. Ведь ее не увидеть с первого взгляда, в то время как слегка модифицированная действительность социалистического Китая сразу же бросается в глаза. Тайные знаки сокровенного присутствия сливаются с фоном, и порой их легче отыскать чужеземцам, например, голландцу Ван Гулику, французам Морису Гране и Франсуа Жюльену; гостям и пришельцам нередко случается завладеть сокровенным бирюзовым ларцом, воздушным змеем или тем же чувственно-сверхчувственным фонариком. Такая прививка, удачно подобранная микродоза, не раз способствовала расцвету дикорастущих сортов.

Всемирная история заимствований не только еще не написана, но пока даже и не осмыслена как проблема. А ведь можно вспомнить историю балета: когда-то, около двухсот лет назад, этот диковинный саженец был завезен из Франции в Россию, а уже через сто лет культурный Париж испытал одно из самых больших потрясений в своей истории — и оно было вызвано «русскими сезонами» Дягилева, знакомством с *русским балетом*. Впрочем, похожие сюрпризы за последнюю тысячу лет неоднократно преподносила Китаю соседняя Япония. Поэтому заимствование включает в себя и технологию забвения, и некоторую долю *misprision* — неверного считывания, кривочтения (термин Хэролда Блума), «случайной» ошибки в пользу собственных смыслов. Дело можно рассматривать и так, что один за другим загораются условные бумажные фонарики, чтобы потом воспользоваться их разгоревшимся светом для отыскания собственного сокровенного. Но и мы, в свою очередь, можем претендовать на собственную причастность к вечному Китаю, подобно тому, как жители всей планеты вполне справедливо дышат кислородом, вырабатываемым преимущественно таежными массивами Сибири и лесами Амазонии.

3

Отбирая рассаду (коль скоро уж речь зашла о метафоре садоводства и огородничества), следует тщательно отделять саженец, понимая, что и сугубая тщательность не дает стопроцентных гарантий приживаемости. Но, во всяком случае, совершенно бесполезно надеяться на всходы, захватив с помощью экскаватора какой-нибудь абстрактный кубометр земли. В отношении к радикально иной культуре первостепенную важность имеет исходная тематизация.

Так, например, европейская дисциплинарная наука как специфическая формация знания определяется некоторыми параметрами (или инфраструктурами в смысле Деррида), которые могут показаться естественными и само собой разумеющимися, пока дело не доходит до очной ставки с реальностью другой культуры и другого экзистенциального проекта.

Возьмем презумпцию линейной истины и правило единства точки зрения. Уже у греков истина предстает преимущественно в двух ипостасях: как соответствие вещи собственному эйдосу-образцу (Платон) и как абстрактная согласованность «частей речи», любых отличимых друг от друга имен, согласованность, позволяющая позитивное суммирование знаний

(логическая истинность Аристотеля). То есть, будучи установленной, истина защищена от падения и спонтанного размывания; если мы вдруг отвернемся, с ней, с истиной, ничего не произойдет, она будет спокойно ждать нового попадания в фокус внимания.

В китайской традиции дело обстоит иначе: здесь правило гарантированной неподвижности однажды установленной истины не выполняется. Вне таких важных определенностей, как *уместность и своевременность*, говорить об истине вообще бессмысленно. И в даосских, и в конфуцианских арсеналах можно найти множество примеров, когда принципиально тождественные по своим внутренним параметрам события обращаются своей противоположностью к герою или виновнику события, как только меняются обстоятельства уместности и своевременности. Как тут не вспомнить излюбленную притчу Ян Чжу.

В книге Ян Чжу рассказывается, как Ши послал своих сыновей к царю, и тот из них, кто был склонен к ученым занятиям, стал наставником у царских сыновей, а склонный к воинскому делу — военачальником. Воодушевившись, и Мэн послал своих сыновей к царю, ибо они имели те же склонности. Однако вместо признания заслуг их поджидало жестокое наказание. Опечаленный Мэн обратился к Ши за разъяснениями и услышал в ответ следующее:

«Каждый, кто удачно выберет время, преуспее! Каждый, кто упустит случай, пропадет! Путь твоих сыновей был тот же, что и у моих, плоды же — иные. Просчет не в поступке, а в неудачном выборе времени. Ведь в мире не бывает законов всегда правильных, нет и всегда неправильных. То, что годилось прежде, ныне, возможно, следует отбросить; то, что нынче отбросили, позже, возможно, пригодится. Для того, что пригодно, что непригодно, нет неизменной истины. Нет твердой меры для того, как пользоваться удобным случаем, ловить момент, действовать по обстоятельствам. Это зависит от сообразительности» (Мудрецы Китая, М., 1996. С. 106–107).

Неумение вести игру сходств и различий предстает не столько как различие, сколько как досадное отсутствие мудрости — если угодно, как конституциональная глупость или посредственность, с которой ничего нельзя поделать, тогда как невежество можно преодолеть. Традиционное название одаренного человека в Китае (в Европе сказали бы *гения*) — *мастер, владеющий сходством и несходством*. В конечном счете речь идет о совершенной хроносенсорике, позволяющей правильно схватывать границы целого. Такому мастеру удастся смотреть со стороны, точнее говоря, со всех сторон на абстрактную рамку одновременности, тогда как «людям посредственным» непременно приходится засовывать в нее голову для того, чтобы просто взглянуть на мир. Можно сказать, что оптика переносного ки-



«Дао» — путь

тайского фонарика меняет, прежде всего, раскадровку событий и, следовательно, статус события как такового.

Событийность можно рассматривать как главный содержательный параметр времени. Но, с другой стороны, ее можно интерпретировать и как нечто, выпадающее из времени. Как бы мы при этом ни понимали событие, перед нами все равно особая темпоральная реальность. Вот что пишет об этом Франсуа Жюльен: «Фактически событие характеризуется тремя важнейшими чертами. Сначала о его исключительном статусе, отличающем его от момента: событие — это в принципе то, что не может производиться каждый момент времени. Дело не только в том, что событие всегда считается единичным, но и в том, что оно, к тому же, считается и необычным или, по меньшей мере, не совсем обычным. Выделяясь из окружающей его временной последовательности, событие решительно отодвигает в тень прилегающие к нему моменты. Те же, поддаваясь его притягательности, в зависимости от него меняют свои очертания. Во-вторых, всякое событие является потрясением, преобразующим под своим влиянием все заложенные в нем возможности; когда говорят, что оно пришло, всегда подразумевают, что где-то произошел взлом, который произвел разрыв между прошлым и будущим». «Похоже, — пишет Пруст в „Пленнице“, — что события оказались более обширными, чем момент, в котором они происходят, и они не могут в нем поместиться все целиком». «В конце концов, событие, будь оно ожидаемым или объясненным *post factum*, как бы мы ни трактовали его, прибегая к его контексту, содержит в себе нечто неусваиваемое и указывает на нечто, находящееся снаружи» (Франсуа Жюльен. «О времени. Элементы философии „жить“», М., 2005. С. 119–120).

Событие, бесспорно, представляет собой темпоральную неоднородность, притом данную в своей дискретности. Но действительно ли оно выпадает из хода времени, взламывая оболочку хроноизоляции? Это, бесспорно, не так, если речь идет о каком-то собственном времени, внутри которого и подготовлено событие как его кайрос, кульминация или просто интенсивная фаза. Но событие *выпадает* из фоновой равнодействующей времен — и тогда это, как правило, роковое событие, не оповестившее о себе в потоке предшествующих моментов. О нем не говорят *пришла пора*, о нем говорят *нежданно-негаданно*.

Очевидно, что в европейской традиции именно такие взломы-прорывы и являются событиями по преимуществу — и в силу своей внезапности они требуют экзистенциальных решений. В каком-то смысле экзистенциализм возникает и развивается как техника обращения к внезапным событиям. Он, вообще говоря, и имеет смысл лишь в мире, где эти внезапные события решительно преобладают.

Содержание экзистенциализма моделируется азартной игрой и вращается вокруг готовности поставить жизнь на кон. Экзистенциализм продуцирует достойный, претендующий на бессмертие ответ смертного существа. Но он, в то же время, предполагает и негативные условия своей возможности. В свод этих условий входит неукорененность человеческого существа, а также уже произошедшее отпадение от времени как полноты собствен-

ных времен. Существование, которое предшествует сущности, это такое существование, которое заброшено, вынесено в среду принудительной, искусственной синхронизации, и поэтому подступающих событий, которые могли бы оповещать о себе перезвоном предшествующих моментов, собственно, и нет. Пустые синтетические моменты пригодны для упаковки новостей, но непригодны для передачи далеких позывных из прошлого или будущего, непригодны для трансляции ритмического рисунка времени.

Если же «суставы времени» не вывихнуты, экзистенциализм не несет в себе мудрости, а представляет собой, скорее, форму паники. Ведь можно было бы заранее культивировать сопричастность к сезонному ходу вещей и получить оповещение о событии заранее для того, чтобы слиться с ним или ускользнуть, — именно таков идеал китайской мудрости.

Однако, даже если иметь в виду темпоральную природу события, нельзя не отметить его отличия от других моментов того же времени: событие в любом случае предстает как некий привилегированный момент. Можно, пожалуй, сказать так: событийная насыщенность, «эвентоемкость» есть важнейший параметр времени. Существуют времена (темпоральности), которые, независимо от их длительности, точнее, от метрической длины их проекции на измерительную линейку, располагают одним-единственным событием. Другие располагают несколькими событиями или, например, альтернативной парой событий. Но существуют времена, насыщенные событийностью, — из них-то и конденсируется *событие субъекта*.

Важно отметить еще одно обстоятельство: чем более дискретны события, чем лучше они различены друг от друга, тем меньше мы имеем дело с самой природой времени и больше с тем, что «во времени», — так, по крайней мере, подсказывает интуиция. Когда специфически темпоральное выступает как фон, оно вызывает оскучение или просто попадает в зону невосприятия. То есть, преобразованное культурой восприятие придает и без того «выдающимся» событиям еще и дополнительную повышенную контрастность. В регистрации темпорального срабатывает некий аналог *данности сразу*. Можно, безусловно, говорить о хроносенсорной депривации человеческого существа, но решающая роль принадлежит настройке внешних психических функций — систематическому импульсу, исходящему из сферы символического. Одно дело мирозерцание, культивируемое, например, китайской традицией, — здесь интеллектуальные и духовные силы направлены на восстановление вторичной хроносенсорики. Подобно тому, как даосы выращивают в собственном организме пилюлю бессмертия, китайские мыслители по деталям собирают в себе резонатор, колебательный контур, регистрирующий не дискретные события, а фоновую ауру времени.

Европейская метафизика, напротив, поддерживает зону невосприятия прилегающей к событию темпоральности, не говоря уже о том, что само экзистенциальное измерение избавляется от темпорального шлейфа, всякий раз призывая заострить ситуацию, вывести ее из кокона сопутствующих и извиняющих обстоятельств. Техника экзистенциализма в том и состоит, чтобы зачистить контакты для максимально яркой вспышки события. Тем

самым маскируется, прежде всего, хронопроизводность событийной канвы, процессуальность сгущения, — так что кристаллическая решетка решающих событий предстает как каркас здесь-бытия. Мы еще вернемся к технике проживания времени как к сокровищу, заключенному в китайской нефритовой шкатулочке.

4

Итак, в отличие от преобладающего направления европейской метафизики, мудрые люди Поднебесной издавна предпочитали продольную, а не поперечную раскадровку событий. Этим, отчасти, объясняется отсутствие *единства точки зрения* — важнейшего условия европейских дисциплинарных наук. Китайский сюэцай классической эпохи ведет себя по-разному в зависимости от жизненных ситуаций и, кстати, по-разному в зависимости от *сезона*. Точка зрения, которая, скорее, не точка, а волна, принадлежит не статичному субъекту, претерпевающему различные жизненные коллизии, а хронопотоку, в котором пребывает индивид и которым он уносится. Если европейцы только одеваются по сезону, то китайцы, можно сказать, по сезону мыслят и чувствуют — во всяком случае, делают поправку на соответствующую фазу важнейших внешних периодичностей.

Европейская этика, в особенности уже упоминавшийся экзистенциализм, рассматривает в качестве основополагающего достоинства нравственный стержень человека, позволяющий ему оставаться самим собой при любом повороте судьбы. Скажем, быть одинаково ровным с близкими и просто знакомыми, с вышестоящими и подчиненными, а главное — сохранять точку зрения, не зависящую от прихотей фортуны. Подобная стойкость не могла бы выглядеть безупречной добродетелью в Поднебесной, она скорее рассматривалась бы как самодурство, далекое от истинной гуманности (Жень).

«Жень» — терпение, сдержанность

Вообще этот момент очень важен, поскольку включает в себе множество недоразумений. Кто только не отмечал *двуличия*, «неискренности» китайских маңдаринов: европейские записки о Китае XVII–XIX веков переполнены подобными наблюдениями. Попробуем, однако, взглянуть на дело с другой стороны. Вот типичная ситуация из серии «служили два товарища». Служили, приятельствовали, встречались каждый день, а затем один из них получил повышение — вознесся. Ну и, допустим, зазнался, стал относиться свысока к прежнему приятелю. Грустная, отчасти даже трагическая история. Вот если бы возвысившийся ничуть не изменился, если бы он все так же оставался на короткой ноге с бывшим сослуживцем, это был бы пример широты души и настоящей дружбы.

Таков европейский взгляд на вещи. Но для сюэца, безусловно, в порядке вещей, если возвысившийся сослуживец стал относиться к нему по-другому. Это ведь не значит «относиться плохо» — просто по-другому, в соответствии с принципом уместности и своевременности. Если между ними существовали правильные, добросердечные отношения, то теперь они просто изменяют тональность в новой уместности; возвысившийся понимает: если бы судьба вознесла приятеля, отношение было бы обратно симметричным. Он понимает и другое: если бы отношения несколько не изменились, его друг был бы разочарован и, возможно, считал бы, что в свое время ошибся в выборе друга, доверившись человеку недалекому, ограниченному, неспособному оседлать попутную волну. Ведь одно дело сохранять верность себе, а другое — не расставаться с определенным, раз и навсегда выбранным одеянием, фасоном, сезоном, — это далеко не одно и то же. Сохранение правильной самоидентичности есть высшее искусство в игре сходств и отождествлений. Вспомним даосскую притчу относительно истинной заботы о себе:

«Шань Бао жил в Лу на высокой горе, пил лишь воду и никогда не интересовался наживой. Дожив до семидесяти лет, он выглядел будто младенец. Но на беду встретился с голодным тигром, который убил его и сожрал. Жил там и Чжан Смелый. Вместо двери в его доме были тонкие занавески — каждый входил к нему, и Чжан никого не боялся. Прожив лет до сорока, он умер от лихорадки. Шань поддерживал свое внутреннее, а тигр съел его внешнее, Чжан отстаивал внешнее всем своим мужеством, а болезнь напала на его внутреннее. Оба они не подгоняли свое отстающее» («Мудрецы Китая», 216).

Если брать Поднебесную в историческом разрезе, в ней можно найти потенциал полярностей, не уступающий по разбросу всей европейской метафизике в целом. Чего стоит противостояние конфуцианства и даосизма, казалось бы, не имеющее точек пересечения и напоминающее оппозицию в соседней Японии: искусство икебаны против борьбы сумо.

Тем не менее, обе эти экзистенциальные техники подчинены истине своевременности. Они оспаривают друг друга лишь по мере утраты или проблематизации уместности, не посягая на суверенитет наследственных территорий. Отнюдь не ограничиваясь только дискурсивными положениями (как европейские *точки зрения*), напротив, проникая во все слои мирозерцания, конфуцианство и даосизм как бы поджидают индивида на манер социально-психологических технологий, сдаваемых под ключ. Сходным образом передается и сама истина — она принадлежит не столько вселяющемуся субъекту, сколько помещению, в которое въезжает жилец. Так, у Чжуан-цзы сказано: «совершенномудрый лишь гостит у справедливости, лишь останавливается на постой у милосердия, странствует же он в беспредельном». Противостояние конфуцианской и даосской стратегий отнюдь не тождественно противостоянию индивидов, разделяющих эти «теории» или точки зрения. Альтернативные стратегии вполне могут сменять друг друга в пределах человекаразмерности одного и того же индивида. Никто, конечно, не запретит тебе плыть против течения, но и никто

из мудрых в Понебесной не сочтет эту попытку какой-то особой доблестью — в отличие от европейских и американских моралистов. Подобное поведение будет воспринято как досадное отсутствие мудрости: ведь в вихревом потоке Дао есть столько попутных течений, стоит лишь внимательно присмотреться и можно выбрать подходящее, оно непременно найдется. Правильно выбранное попутное течение гораздо быстрее и надежнее доставит тебя в нужный пункт.

Речь не идет о сравнительной оценке логики героического противостояния, сакрализованной европейским экзистенциализмом, и стратегии недеяния, опирающейся на правильно рассчитанное точечное резонансное действие. Каждое из этих предпочтений открывает собственный мир, один из них мы можем счесть более пригодным, подходящим для человеческой жизни, но почему при случае не погостить в другом мире, воспользовавшись бумажным фонариком или бирюзовым ларцом в качестве попутного транспорта?

Обратимся к известной европейской сказке — к той, где две лягушки попадают в кувшины с молоком. Мы помним, что одна из них сразу же пришла в отчаяние и утонула, а другая (честь ей и хвала) стала барахтаться, пока не взбила масло. Этой лягушке следовало бы присвоить звание Героя Протестантской Этики: ее подвиг стал примером правильного поведения в суровых жизненных обстоятельствах. Но, заметим, исключительно европейским примером.

Представим себе, что рядом с двумя упомянутыми стоял и третий кувшин, в который угодила лягушка Поднебесной, знакомая с принципами даосской мудрости. В силу такого знакомства она тоже не впала в отчаяние, но не стала суетиться и барахтаться, дав молоку в кувшине успокоиться. Сосредоточившись, оценив ситуацию, поднебесная лягушка заметила, что молоко в кувшине, подобно всякой жидкости, не бывает неподвижным, в нем присутствуют слабые вихревые движения. Если, поймав одно из течений, нырнуть, войдя в его русло, а затем вынырнуть и снова нырнуть, течение станет заметно сильнее и поверхность жидкости начнет колыхаться. Достаточно сделать несколько *правильных нырков* — и чуть ли не половина молока выплеснется вместе с лягушкой. Не исключено, что при этом опрокинется и кувшин, — всем известна история о роте солдат, идущих через мост: если рота идет в ногу, строевым шагом, она может попасть в один из внутренних резонансов и разрушить мост. Тут главное не суетиться и не барахтаться — но ведь понятно, что это и не может быть свойственно лягушке, идущей путем Дао, а не дорогой протестантской этики.

Оказавшись на свободе, мудрая лягушка Поднебесной имела немало времени, чтобы понаблюдать за бултыханием своей неутомимой соратницы, чьи усилия были прославлены в сказках европейских народов. Вероятно, ее размышления не ограничились констатацией того факта, что сметана (не говоря уже о масле) будет нескоро, да и выбраться из вязкой сметаны не многим проще, чем из жидкого молока. Могло возникнуть и другое, свойственное даосской философии соображение: неутомимую труженицу восхваляют неспроста: ведь ее деятельность осуществляется в интересах

Большого Вора, могущественного незримого господина, которому необязательно даже приносить жертвы — достаточно приносить пользу. Да, кстати, немецкие и голландские хозяйки издавна бросали лягушку в кувшин с молоком — как раз для улучшения качества сметаны: возможно, и сказочка понадобилась для того, чтобы великомученицу подбодрить...

Из этой притчи можно сделать еще один вывод — об истинном смысле и предназначении пословиц. С точки зрения линейной, непоколебимой истины пословицы грешат досадной поспешностью: уж больно легко отыскиваются противоположные им случаи. То ли дело научные обобщения и метафизические универсалии — они-то и избираются в качестве привилегированной формы знания как раз потому, что отыскание противоположного, не укладывающегося в схему случая крайне затруднено. Скажем, всем вроде бы хороша пословица «тише едешь — дальше будешь», но она явно зависима от подходящих случаев и потому не может быть принята всерьез, не может быть зачислена в состав «серьезного» знания. Для китайского способа мысли достоинством по-настоящему мудрой сентенции является именно то, что, обозначая свою уместность и своевременность, она, вместе с тем, отсылает и к собственной противофазе, к уместности противоположного. *Не следует раскачивать лодку* — любят говорить англичане. Разумеется, аналоги этой пословицы есть и у других народов, в том числе и у китайцев. Но мудрость состоит в том, чтобы представить, а тем самым и предупредить ситуации, когда именно это и следует делать, — если лодка управляема чужими интересами, если ее непотопляемость служит залогом твоей собственной гибели. Тогда следует раскачивать и лодку, и кувшин, — только так, чтобы не сбить ненароком масло для Большого Вора.

5

Особого рода загадкой и предметом правильного удивления для остального мира является перфекционизм китайских мастеров. Этот перфекционизм проявляется во всем: в знаменитых резных шариках из слоновой кости, в каллиграфии, в тонкостях ритуала и в совершенстве недеяния. Мы наблюдаем у китайских мастеров изощренность, которую можно назвать эталонной, однако причины ее до сих пор остаются загадочными. Что заставляет добиваться подобного перфекционизма, зачастую пересекающего границу восприятия и уводящего в зону неразличимости, туда, где нормальный человеческий глаз не в состоянии оценить степени достигаемого совершенства и даже специально тренированному восприятию приходится опираться преимущественно на косвенные признаки? Вспомним, как Сю Тань, рассматривая картину одного из старых мастеров, выражает восхищение не цветом, не композицией, а *положением большого пальца на кисточке* в момент рисования. В китайской чайной церемонии такие «положения большого пальца» составляют скрытое содержание послания, без которого, впрочем, церемония теряет свою неувимую притягательность.

Здесь мы оказываемся перед наиболее мистическим и в то же время наиболее важным моментом духовного производства, моментом устройства невидимого и выходом поэзиса в трансцендентное. Подобные моменты всегда отличают великую цивилизацию; цивилизацию не в смысле Шпенглера, не как последнюю угасающую стадию культуры, а как несокрушимую диктатуру символического, обеспечивающую усилие аскезы, распределяемое по всему социуму. Однако всякий раз связь с трансцендентным или выход в трансцендентное носят особенный характер. Когда в XVI веке часовой мастер из Регенсбурга наносил искусную гравировку не только на крышку часов, но и находящиеся внутри детали, он делал это потому, что Бог все видит. Мастер осуществлял инаугурацию божественного всеприсутствия. Жесты такого рода необъяснимы изнутри экономики, зато сама экономика, ее производительная мощь и ее преобразующая сила, могут быть поняты и объяснены исходя из незыблемости сакральной санкции, напрямую доводимой до сведения часовщика, пирожника, музыканта и пивовара. Перфекционизм мастеров протестантской Европы вытекал из принципа мирской аскезы; Макс Вебер хорошо показал устройство этой обусловленности.

Свой перфекционизм, кажущийся нелепым и странным, был и у советской цивилизации: специфически преломленный зов трансцендентного побуждал к странным деяниям. Скажем, мост, для которого достаточно было выдержать нагрузку в пятьдесят тонн и прослужить двадцать лет, строился на века и мог выдержать нагрузку, в разы превышающую расчетные параметры. Такой перфекционизм имел важные последствия. Он оказался непригодным для поддержания экономики как специфического поэзиса, органичного для цивилизации Лютера — Кальвина — Франклина. Тип дистрибуции вещей, соответствующий этому поэзису, может быть назван разве что «экономикой», с неизбежным подразумеванием кавычек, однако неизменная готовность к монументальному жесту по-своему поддерживала и возобновляла устои странной цивилизации. Имперский монументализм — это и есть трансцендентное расширение присутствия, и весьма показательным, что отступивший от советского перфекционизма Хрущев в значительной мере способствовал обрушению устоев самобытного социального бытия. Но нас сейчас интересует не лютеранский и не советский, а китайский перфекционизм.

Его причиной является не всевидящее око Бога и не окончательный вердикт потомков из далекого коммунистического будущего. В основе китайского перфекционизма лежит принцип всеобщей гомеопатической связи сущего и происходящего. Причем речь идет не только об идее гомеопатии, но и о некоем всеобщем чувстве, если угодно, об общекультурной интуиции. Особого рода тщательность в обработке входящих друг в друга шариков из слоновой кости важна, конечно, и сама по себе, но явно не в первую очередь. Отдельные элементы изделия, потребовавшие нескольких недель работы, могут быть обнаружены лишь с немалым трудом, иногда лишь с помощью лупы. Но как раз безупречность этих элементов или, напротив, ничтожные отступления от них определяют суть мастерства,

они служат опознавательными знаками для отличия истинного мастерства от просто добросовестной работы.

Принципиальная гомеопатичность подлинного совершенства объясняется наличием, вкраплением *своего иного* внутри своего самого собственного, внутри всякой имманентности и последовательности. Это, в свою очередь, обусловлено особенностями течения хронопотоков мира, то есть способом бытия Дао. Чрезвычайно важно отыскать и воспроизвести крошечную прививку инобытия в самом сердце субстанции *causa sui*, но лишь такое усмотрение будет означать полную собранность, точность и готовность к перемене, оно будет указывать на единство самообладания и инообладания, что является пределом возможного для смертных совершенства.

Подыскивая имя китайскому перфекционизму, я склонен остановиться на понятии *симпатических нанотехнологий времени*. Речь ведь идет о фиксации точки перегиба или иной сингулярной точки хронопотока. Пояснить это можно следующим образом.

Предположим, внутри зимы есть свое крошечное лето, которое не является собственно летом, но является *летом зимы*, и его нужно распознать, почувствовать, чтобы обойти его или, наоборот, нырнуть в него неким восходящим движением соучастия. Но это, возможно, еще только поддела. Суть же подлинного мастерства и высшего знания в том, чтобы внутри обнаруженного лета зимы отыскать еще и собственную зиму, после чего произвести мгновенное акцентированное действие, едва различимое или вообще незаметное. Такое точечное действие способно обес-печить целое облако недеяния-увэй, а стало быть, избавить от лишней суеты, от малейших намеков на сбивание чужого масла. Поступать так и значит применять симпатическую нанотехнологию времени, используя китайский вариант знаменитой архимедовой точки опоры — с той разницей, что нанотехнология времени не стремится перевернуть Землю, а скорее позволяет остаться на плаву в тот момент, когда Земля с неизбежностью окажется перевернутой.

Именно виртуозная гомеопатия событийной смеси лежит в основе китайского понимания мира, она же определяет и перфекционизм мастеров Поднебесной. Можно, конечно, сказать, что родиной подобных «нанотехнологий» является симпатическая магия как первая форма эффективного контроля сознания над миром. Это, в принципе, справедливо, но следует учесть, что расстояние от симпатической магии архаики до соответствующей духовной практики Поднебесной не меньше, чем расстояние от той же точки до европейских дисциплинарных наук; просто эти расстояния были отложены в разных направлениях, поскольку были избра-



«Ань» — благополучие, мир, спокойствие

ны разные пути. Если европейский путь (в области философии увенчавшийся экзистенциализмом) отверг хроносенсорику вообще как паразитарную форму чувственности, заменив ее принудительной строгой раскадровкой происходящего, то путь мудрецов Поднебесной основывался на тщательном отслеживании всех скоростей и развилок собственных хронопотоков мира. Упускать этот бесценный и уникальный опыт было бы непозволительно.

Про достижения в медицине сказано уже немало, именно здесь принципы китайской гомеопатии получили первое подтверждение и признание — при том, что химико-фармакологические основания гомеопатического воздействия все еще остаются до конца не ясными. Во второй половине XX столетия достаточно широкую известность приобрел и фэншуй — повседневный бытовой симбиоз, ставший, по существу, «народным» эстетическим каноном в Китае более тысячи лет назад — он вполне может выполнять функцию переносного фонарика.

Проследим еще раз особенности такого мирозерцания. Согласование макрокосма и микрокосма было важнейшей стратегией для большинства великих культур (вспомним, хотя бы, античную Грецию). Поднебесная довела согласование до совершенства, подключив сюда и «нано-косм» — так, чтобы все различимые миры могли компактно вкладываться друг в друга на манер уже упоминавшихся резных шариков из слоновой кости. Но разве эти филигранные вхождения не являются «Поднебесной, которая спрятана в самой Поднебесной»? Отыскать спрятанное не так просто, когда искомые сущности надежно сокрыты друг в друге.

Китайским философам не в меньшей степени, чем философам Европы, был свойственен интерес к первопричинам всего сущего. Однако фокус этого интереса был направлен не на дискретных агентов причинения (и не на форму инопричинения вообще), а на согласование автономных ритмов самотождественности, на то, как это согласование меняющегося и разнородного способно обеспечивать неизменность на выходе. «Простолюдин ищет причины изменений (перемен), — говорит Ян Чжу, — и лишь совершенномудрый понимает, что и у неизменности есть свои причины». Различия можно проиллюстрировать на примере трактовки такого феномена, как болезнь.

То, что простуда, точнее говоря, совокупность простудных заболеваний, связана с переохлаждением, было известно и Гиппократу, и задолго до Гиппократа. Однако примерно полтора столетия назад европейская дисциплинарная наука (в данном случае медицина) благодаря Коху, Вирхову и Пастеру совершила настоящий прорыв, установив *конкретных возбудителей* для каждого заболевания, — прорыв, едва ли доступный гомеопатам Поднебесной. И что же? Торжество исчерпывающего причинного объяснения оказалось преждевременным: вскоре обнаружилась вещь, прекрасно известная даже не самым искусным китайским гомеопатам начиная как минимум с VI века: в организме постоянно присутствуют возбудители почти всех болезней, но заболевает человек лишь тогда, когда нарушается равновесие и ослабевает защита. Что вполне может произойти и от переохлаждения, и от

того, например, что человек слишком долго сидел, поджав ноги, и вообще от всякого нарушения условий уместности и своевременности. Переносной китайский фонарик способен пролить свет на сумму обстоятельств, хотя высвечиваемые им контуры мира Декарт не назвал бы ясными и отчетливыми. Продолжим сравнительное рассмотрение познавательных стратегий.

Дискретный физический детерминизм задает ранг законов, подобных закону Архимеда, Гука или Кулона. Все они представляют собой идеализации, то есть выполняются как законы лишь в том случае, если отбросить сумму помех, если вынести за скобки совокупный сопромат мира. Методология здесь тесно переплетается с верой и с идеалом европейского разума, в соответствии с которым помехи и вообще всяческая смазанность происходящего представляют собой досадное недоразумение. К счастью, разум способен абстрагироваться от помех и допусков как от посторонних наслоений и увидеть мир таким, каким он был сотворен. В том, еще не претерпевшем грехопадения мире действовали ясно различимые умопостигаемые причины, позволяющие проникнуть в замысел творения. Установление таких причин есть своеобразная форма благочестия; у Галилея и Ньютона не было сомнений, что они занимаются богоугодным делом.

Совершенно иначе дело обстоит с точки зрения, например, Чжуан-цзы. Идеальные законы, которые можно обнаружить под слоем помех и поправок, безусловно, важны, и причинные связи, которыми они опутывают вселенную, подобны тросам из сверхпрочного материала. Однако суть дела в том, что эта схематическая опорная конструкция почти всегда уравновешена, благодаря чему, собственно, мироздание и пребывает в том виде, в каком оно пребывает. Более или менее свободными остаются лишь элементы тонкой настройки — по сравнению с тросами и канатами основополагающего причинения они суть едва различимые ниточки, но важны они именно в силу принципиальной уравновешенности всего остального.

Впрочем, и ниточки крайне редко болтаются просто так, обычно они образуют едва натянутый колебательный контур. В рамках этого, казалось бы, бесконечно удаленного от магистральных линий причинения регулирующего контура как раз и обретают свою значимость фазы Луны, перелеты птиц, внезапные перемены настроения и вообще всякая сезонность, определяющая согласованную ритмику хронопотоков. Муж мудрый стремится обратить свой взор преимущественно к такого рода резонансам: ведь именно они, в отличие от неизменных стабильных причин, допускают симпатическое, гомеопатическое воздействие, которое, в конечном итоге, способно как нарушить большое равновесие, так и восстановить его.

Стало быть, крошечные гомеопатические шарики, если понимать их расширительно, могут быть уподоблены драгоценному бисеру, хранимому в походном ларце, который, в свою очередь, является переносным инструментом для настройки и перенастройки мироздания. Виртуозное владение нанотехнологией сходящихся и расходящихся времен разворачивает собственное пространство уподоблений, что как раз и позволяет отождествлять каллиграфию с искусством единоборства, а его, в свою очередь, с управлением Поднебесной.

И еще раз, возвращаясь к развилке господствующих матриц миропонимания: европейская традиция усилила и увековечивала принцип структурной общности, чему предшествовало разрушение хроносенсорики во имя обретения структурно-отождествляющего зрения, — данное обстоятельство не уставал отмечать Бергсон. Поднебесная пошла иным путем, путем отслеживания изохронизма происходящего. На этом пути обнаружилось столь же очевидные совпадения стихотворных размеров и погодных сезонов (ср. у Пастернака: «Февраль — достать чернил и плакать»), обнаружилось стилистическое единство пешеходных прогулок, перелетов птиц, гаданий на триграммах И-цзин, свадебных церемоний, способов «перекусить» между обедом и ужином, то есть главные различия состояли в решении вопроса — *что такое одно и то же...*

6

Принцип всеобщей гомеопатии универсума, будучи результатом, так сказать, длительных наблюдений и следствием максимально сохраненной хроносенсорики, имеет и свою трансцендентальную составляющую. Речь идет об априорных представлениях относительно устройства сущего и его скрытых наклонностей. Скажем, когда художник, расписывающий ширму, охлаждает краски до строго определенной температуры или когда сюцай совершает чайную церемонию в полном одиночестве, не допуская при этом ни малейших отступлений от канона, они делают это не столько ради конкретного результата, недоступного человеческому взгляду в полноте своего совершенства. Высокий перфекционизм соблюдается ради нерушимой целостности самого мастерства, а также потому, что тщательное соблюдение ритуала и порядка в каком-нибудь одном деле, на первый взгляд, не слишком важном, непременно аукнется где-нибудь по соседству, а то и в отдалении от поля приложения искусности, — и тогда непременно придет неожиданный успех там, где для этого вроде бы ничего не предпринималось. И наоборот, за небрежность, вроде бы сошедшую с рук и даже вовсе не замеченную, последует неожиданное наказание там, где для этого не было никаких предпосылок.

«Наши успехи возникают не в результате наших усилий, но вследствие их» — вот один из важнейших тезисов китайской мудрости, один из постоянных источников перфекционизма Поднебесной, источников не менее эффективных, чем представление о всевидящем оке Бога. Вот почему и бирюзовый ларец, цветной бумажный фонарик, несмотря на свою скромную вещественность, вполне могут рассматриваться как полномочные представители самой идеи вечного Китая.